

КУНДЕРА



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИНОСТРАНКА»

# Милан Кундера

## Вальс на прощание

### Серия «Большой роман»

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=144361](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=144361)*

*Вальс на прощание: Иностранка, Азбука-Аттикус; Москва; 2022  
ISBN 978-5-389-21637-2*

### Аннотация

Милан Кундера принадлежит к числу самых популярных писателей современности. Его книги буквально завораживают читателя изысканностью стиля, умелым построением сюжета, накалом чувств у героев. Каждое новое произведение писателя пополняет ряд бестселлеров интеллектуальной прозы.

В романе «Вальс на прощание» рассказывается о противоречивых отношениях между восемью людьми, которые встречаются в маленьком курортном городке в Чехословакии в начале 1970-х годов. Каждый из них оказывается вовлеченным в разнообразные любовные перипетии, которые перекрещиваются между собой, рождая замысловатый сюжетный рисунок, ближе к финалу приобретающий неожиданно трагические цвета.

# Содержание

День первый	6
1	6
2	8
3	11
4	13
5	15
6	19
7	20
8	23
9	25
День второй	29
1	29
2	34
3	37
4	40
5	43
6	47
7	54
8	58
9	67
10	76
Конец ознакомительного фрагмента.	79

# Милан Кундера

## Вальс на прощание

Milan Kundera

LA VALSE AUX ADIEUX

Copyright © 1973, 1986, Milan Kundera

© Н. М. Шульгина (наследник), перевод, 2022

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022

Издательство Иностранка®

\* \* \*

Роман «Вальс на прощание» – из относительно ранних, он написан в самом начале 70-х годов... Мир в произведениях Кундеры вращается, как правило, вокруг мужчины и женщины, познающих друг друга и никак не умеющих познать до конца... При всем при том роман не оставляет мрачного чувства, даже наоборот: аура произведения – светлая.

*ВЛАДИМИР ШПАКОВ*

После «Вальса на прощание» не остается никаких сомнений: Кундера мастер современной литературы.

Этот роман – не только пример виртуозности пера, но и впечатляющее погружение в глубины человеческой души.

*L'UNITE*

# День первый

## 1

Наступает осень, деревья желтеют, краснеют, буреют; небольшой курортный городок в живописной долине словно объят пожаром. Вдоль колоннады, наклоняясь к источникам, расхаживают женщины. Все они бесплодны и лелеют надежду здесь, на водах, избавиться от своего недуга.

Мужчин среди пациентов значительно меньше, но мелькают и они, ибо курорт творит не только гинекологические чудеса, но якобы укрепляет и сердце. И все же – на одного пациента здесь приходится не менее девяти пациенток, что доводит до бешенства незамужнюю молодую женщину, медсестру Ружену, обслуживающую в бассейне бесплодных дам.

Ружена родилась здесь, здесь у нее родители, и кто знает, посчастливится ли ей когда-нибудь вырваться из этого городка, кишмя кишящего женщинами!

Понедельник, рабочий день на исходе. Обернуть еще нескольких толстух в простыни, уложить их на кушетки, обтереть им лицо, улыбнуться, и дело с концом.

– Ну что, позвонишь? – спрашивают Ружену ее сослуживицы; одна из них – рыхлая тридцатипятилетняя, вторая – худая и помоложе.

– А почему бы и нет? – говорит Ружена.

– Главное – не волноваться, – подбадривает ее тридцатипятилетняя и ведет за кабинки, где пациентки переодеваются; там у сестер свой шкаф, столик и телефон.

– Позвони ему домой, – говорит худая не без злорадства, и все три раздражаются смехом. Когда смех утихает, Ружена говорит:

– Я знаю только телефон его театрала.

Разговор был ужасным. Услышав в трубке ее голос, он испугался. Он всегда опасался женщин, хотя ни одна из них этому не верила, принимая его слова разве что за кокетливую шутку.

– Как поживаешь? – спросил он.

– Не очень хорошо, – ответила она.

– А в чем дело?

– Мне нужно поговорить с тобой, – патетическим тоном сказала она.

Именно этот патетический тон он ждал уже несколько лет.

– Да, – произнес он упавшим голосом.

Она повторила:

– Мне очень нужно поговорить с тобой.

– Что случилось?

– Я уже не та, какой ты узнал меня.

У него перехватило дыхание. Лишь минутой позже он снова спросил:

– А что такое?

– Уже шесть недель, как у меня задержка.

Превозмогая себя, он сказал:

– Может, ничего особенного. Иногда такое случается, это еще ничего не значит.

– Нет, на этот раз именно так.



– Невероятно. Это просто исключено. Во всяком случае я тут ни при чем.

Она оскорбилась:

– За кого ты меня принимаешь, скажи на милость!

Он боялся ее оскорбить, потому что вообще боялся ее:

– Я не собираюсь тебя оскорблять, что за глупость, зачем мне тебя оскорблять, я говорю лишь потому, что со мной это не могло случиться, тебе нечего бояться, это просто исключено, физиологически исключено.

– Что ж, не сердись, – сказала она очень оскорбленным тоном. – Прости, что побеспокоила тебя.

– Нет, нет, что ты! – Он испугался, что она повесит трубку. – Это правильно, что ты позвонила! Само собой, я помогу тебе. Конечно, все можно уладить.

– В каком смысле – уладить?

Он смешался, не осмеливаясь назвать вещи своими именами:

– Ну так... уладить.

– То, что ты имеешь в виду, не получится. Выкинь это из головы. Даже если испорчу себе жизнь, все равно не сделаю этого.

Его снова бросило в жар, но на сей раз он попытался чуть надавить на нее:

– Зачем же ты мне звонишь, если не хочешь говорить об этом? Ты хочешь посоветоваться со мной или сама уже все решила?

– Хочу посоветоваться.

– Я приеду к тебе.

– Когда?

– Я дам тебе знать.

– Хорошо.

– А пока будь здорова.

– Ты тоже.

Повесив трубку, он вернулся в зал, где репетировал со своим оркестром.

– Господа, репетиция окончена, – сказал он. – Сегодня у меня нет больше сил.

Она положила трубку, пылая от возмущения. Ее оскорбило то, как Клима принял ее известие. Впрочем, она чувствовала себя оскорбленной уже задолго до этого.

Они познакомились два месяца назад, когда знаменитый трубач концертировал на курорте со своим оркестром. После концерта был кутеж, на который пригласили и ее. Трубач, отдав ей предпочтение перед остальными девушками, провел с нею ночь.

С тех пор он как в воду канул. Она послала ему две открытки, но он так и не ответил ей. Однажды она, оказавшись в столице, позвонила в его театрик, где, по ее сведениям, он репетировал с оркестром. Человек, отозвавшийся в трубке, попросил ее назвать свое имя и сказал, что попытается найти Климу. Вернувшись минутой позже к телефону, он сообщил, что репетиция закончилась и пан трубач уже ушел. Решив, что он скрывается от нее, она рассердилась тем больше, что уже тогда стала опасаться беременности.

– Надо же, физиологически исключено! Здорово сказано – физиологически исключено! Интересно, что он скажет, когда родится ребенок!

Обе сослуживицы горячо поддакивали ей. Уже в тот день, когда в насыщенном испарениями зале она сообщила им, что прошлой ночью провела неопишуемые минуты со знамени-

тым трубачом, он сделался достоянием всех ее сотоварок. Его призрак витал в зале, где они попеременно дежурили, и всякий раз, когда там-сям звучало его имя, они усмехались про себя, словно речь шла о ком-то, с кем они были близко знакомы. А узнав, что Ружена беременна, и вовсе преисполнились странной радости, ибо с этой минуты он стал уже неотделим от них, физически присутствуя в недрах ее тела.

– Ну ладно, ладно, успокойся, девушка, – похлопала ее по спине тридцатипятилетняя. – У меня кое-что есть для тебя. – Она тут же раскрыла перед Руженой номер иллюстрированного журнала, весьма замусоленный и захватанный. – На-ка, взгляни!

Все три женщины уставились на фотографию молодой красивой брюнетки, стоящей на сцене с микрофоном у рта.

Ружена попыталась на этих нескольких сантиметрах снимка вычислить свою судьбу.

– Я и не знала, что она такая молодая, – сказала она с опаской в голосе.

– Э, брось! – рассмеялась тридцатипятилетняя. – Этому снимку лет десять будет. Она с ним одного возраста. Куда ей до тебя!

На протяжении всего телефонного разговора Климу не оставляла мысль, что это ужасное известие он уже давно ожидал. Не потому, что у него был разумный повод думать, что во время этого рокового кутежа он сделал Ружене ребенка (напротив, он был уверен, что она облыжно обвинила его), но такое известие он ждал уже много лет, еще задолго до того, как познакомился с Руженой.

Ему шел двадцать первый год, когда одна влюбленная блондинка решила сказать беременной и тем самым заставить его жениться на ней. Для него это были ужасные недели, завершившиеся желудочными спазмами и полным изнеможением. С тех пор он знает, что беременность – это удар, который может прийти откуда угодно и когда угодно, удар, от которого нет громоотвода и о котором извещают патетическим тоном по телефону (да, и в тот раз блондинка сообщила ему эту злополучную новость сперва по телефону). Событие, случившееся в его ранней молодости, стало причиной того, что впоследствии он всегда сближался с женщинами с чувством страха (однако достаточно пылко) и после каждой любовной встречи боялся печальных последствий. Пусть он и утешался тем, что вероятность такой напасти при всей его осторожности составляет едва ли не одну тысячную процента, но он страшился и этой одной тысячной.

Однажды, соблазненный свободным вечером, он позволил девушке, с которой не встречался два месяца. Узнав его по голосу, она воскликнула: «Господи, это ты! Я не могла дожждаться твоего звонка! Мне было так нужно, чтобы ты позвонил!» – И говорила она это так многозначительно, с такой патетикой, что сердце у него сжалось от знакомого страха, и он всем существом почувствовал, что настала минута, которой он опасался. Но, полный решимости взглянуть правде в лицо незамедлительно, он пошел в наступление: «А почему ты говоришь это таким трагическим голосом?» – «У меня вчера умерла мама», – ответила она ему, и он вздохнул с облегчением, хотя знал, что чаша сия все равно не минет его.

– Стоп! Что все это значит? – сказал ударник, и Клима наконец опамятовался. Он увидел вокруг себя озабоченные лица своих музыкантов и рассказал им о случившемся. Ребята, отложив свои инструменты, попытались помочь ему советами.

Первый совет был радикальным: гитарист, восемнадцатилетний паренек, заявил, что такую девушку, которая звонила их дирижеру и трубачу, нужно гнать в три шеи.

– Скажи ей, пусть делает что хочет. Ребенок не твой, так что это не твоя забота. А если ей будет угодно, анализ крови поможет доказать, от кого она залетела.

Клима заметил, что анализ крови по большей части ничего не доказывает и во внимание принимается лишь обвинение женщины.

Гитарист ответил, что до анализа крови дело не дойдет. Отвергнутая таким манером девушка сделает все возможное, чтобы не навлекать на себя лишние неприятности, а поняв, что обвиненный мужчина не трусливый тюфяк, постарается избавиться от ребенка за свой счет.

– А если бы и родила его, весь оркестр на суде присягнет, что в то время мы все с ней переспали. Пусть среди нас ищут папеньку!

Но Клима сказал:

– Знаю, что вы пошли бы и на это. Однако до тех пор я сто раз спятил бы от неуверенности и страха. В этом деле трусливее меня нет никого под солнцем, и мне нужно обрести почву под ногами как можно скорее.

Все согласились. Подход гитариста в принципе неплох, но он не для каждого. Во-первых, он не для того, у кого шалют нервы. А во-вторых, он не годится для человека известного и богатого, ради которого женщины идут даже на самый безумный риск. И потому музыканты пришли к выводу, что вместо резкого разрыва с девушкой необходимо склонить ее к аборту силой убеждения. Но какие избрать доводы? Вырисовывались три основных метода.

Первый метод взывал к сострадательному девичьему сердцу: Клима поговорит с медсестрой, как с лучшей своей приятельницей; доверится ей во всем; скажет, что его жена серьезно больна и что не перенесет, если узнает, что ее муж прижил ребенка с другой женщиной; что и сам он, Клима, ни нравственно, ни психически не выдержит такой ситуации; и что поэтому он просит медсестру сжалиться над ним.

Возражение против этого метода было принципиальным. Нельзя строить всю стратегию на чем-то столь зыбком и негарантированном, как сентиментальная доброта медсестры. Если сердце у девушки не столь доброе и сострадательное, этот прием обернется против Климы. Девушка почувствует себя оскорбленной чрезмерным вниманием, которое он, ее избранник, отец ее ребенка, проявляет к другой жен-



щине, и будет вести себя еще круче.

Второй метод взывал к благоразумию девушки. Клима постарается объяснить ей, что у него нет и никогда не будет уверенности, что ребенок действительно его. Он знаком с медсестрой всего по одной встрече и толком ничего не знает о ней. Он даже не имеет понятия, встречается ли она еще с кем-то. Нет, нет, он вовсе не допускает мысли, что она пытается умышленно обмануть его, но не станет же она уверять его, что не встречается с другими мужчинами! Да если бы она и утверждала это, может ли Клима быть уверен, что она говорит правду? И благоразумно ли произвести на свет ребенка, отец которого никогда не будет уверен в своем отцовстве? И может ли Клима оставить свою жену ради ребенка, не будучи уверен, чей он? И неужели Ружена хочет, чтобы ребенку никогда не дозволено было узнать своего отца?

Но и против второго метода возражения были весьма существенные. Контрабасист (самый старший в оркестре) заявил, что рассчитывать на здравый смысл девушки еще безрассуднее, чем рассчитывать на ее сострадание. Логика аргументации бьет мимо цели: девичье сердце содрогнется при мысли, что любимый человек не верит в правдивость ее слов. Это лишь вынудит ее еще упрямее, с плаксивой напористостью цепляться за свои слова и намерения.

Наконец, имелся еще третий метод: Клима поклянется забеременевшей девушке, что любил и любит ее. О том, что она могла зачать от кого-то другого, не должно быть и речи.

Клима, напротив, обрушит на нее потоки доверия, любви и нежности. Пообещает ей все вплоть до развода. Нарисует ей их прекрасное будущее. А затем ради этого будущего попросит ее одуматься и прервать беременность. Объяснит ей, что появление ребенка было бы преждевременным и омрачило бы первую, самую светлую пору их любви.

Этим доводам недоставало того, чего в предыдущих было с избытком: логики. Можно ли поверить, что Клима настолько влюблен в медсестру, если два месяца избегал ее? Но контрабасист утверждал, что влюбленные всегда ведут себя нелогично и проще простого каким-то образом объяснить это девушке. Под конец все сошлись на том, что третий метод, по-видимому, самый подходящий, ибо обращен к влюбленности девушки – в данной ситуации это представляется единственной относительной истиной.

Они вышли из театрала, на углу протились, но гитарист решил проводить Климу до самого дома. Он был единственный, кто не согласился с предложенным планом. Ему казалось, что план не достоин их дирижера, которого он боготворил.

– Если идешь к женщине, возьми с собой плетку, – цитировал он Ницше, из чьих трудов знал только эту фразу.

– Дорогой мой, – вздохнул Клима, – плетку для меня взяла она.

Гитарист предложил Климе поехать с ним на его машине в этот курортный городишко, каким-то фокусом выманить девушку на шоссе и наехать на нее.

– Кто мне докажет, что она не сама угодила под колеса.

Гитарист был самым младшим в оркестре, любил Климу, и Климу тронули его слова.

– Ты очень славный, – сказал он ему.

И гитарист, покраснев от возбуждения, стал разрабатывать план до мельчайших подробностей.

– Ты очень славный, но так дело не пойдет, – сказал Клима.

– Ты еще колеблешься? Она свинья!

– Ты правда очень славный, но так дело не пойдет, – повторил Клима и протился с ним.

Оставшись в одиночестве, он призадумался над предложением парня и над тем, почему отверг его. Произошло это не потому, что он был благороднее гитариста, а лишь потому, что был трусливее. Страх, что ему могут пришить соучастие в убийстве, был ничуть не меньше страха, что его объявят отцом ребенка. Он представил себе наезжающую на Ружену машину, представил ее, лежащую на шоссе в луже крови, и его на миг охватило блаженное чувство облегчения. Но он знал, сколь бессмысленно предаваться игре воображения. Сейчас его серьезно заботило другое. Он думал о жене. Боже правый, завтра же у нее день рождения!

Было около шести, время, когда закрываются магазины. Он быстро забежал в цветочный и купил огромный букет роз. И невольно представил себе, каким ужасным будет этот день рождения. Ему придется притворяться, что всеми чувствами и мыслями он с ней, придется уделять ей внимание, быть с ней нежным, развлекать ее, смеяться с ней и в то же время неустанно думать о каком-то чужом, далеком животе. Он старательно будет говорить ласковые слова, но мысль его будет далеко-далеко, заключенная во мраке чужого чрева, как в одиночной камере.

Он понял, что провести этот день рождения дома было бы выше его сил, и посему решил не откладывая отправиться

к Ружене.

Конечно, и эта идея не представлялась ему заманчивой. Горный курортдохнул на него безлюдьем пустыни. Он никого не знал там. Кроме, пожалуй, одного американского пациента, который вел себя, как некогда богатые мещане в маленьких городках: после концерта закатил пир в своих апартаментах для всего их оркестра. Он потчевал ребят знаменитыми напитками и женским персоналом курорта, тем самым косвенно содействуя тому, что Клима связался с Руженой. Ах, если бы хоть этот человек, проявивший к нему тогда столь безграничную симпатию, был еще на курорте! Клима мысленно обратился к его образу как к спасению, ибо в минуты, какие переживал он, нет ничего более желанного для мужчины, чем дружеское понимание другого мужчины.

Он снова вернулся в театрик и заглянул к привратнику. Заказал междугородний телефонный разговор. Вскоре услышал в трубке ее голос. Сказал, что приедет к ней завтра. Ни словом не обмолвился о новости, какую она сообщила ему несколькими часами раньше. Он говорил с ней так, словно они были беззаботными любовниками.

Он спросил вскользь:

– Американец еще на курорте?

– Да, здесь, – сказала Ружена.

У него отлегло от сердца, и он уже чуть веселее повторил, что никак не дождется их встречи.

– Как ты одета? – спросил он затем.

– Почему ты спрашиваешь?

Он уже много лет успешно пользовался этим трюком, флиртуя с женщинами по телефону.

– Хочу знать, как ты одета сейчас. Хочу вообразить тебя.

– Я в красном платье.

– Красное наверняка тебе очень к лицу.

– Возможно, – сказала она.

– А под ним?

Она засмеялась.

Да, каждая женщина всегда смеется, когда он об этом спрашивает.

– Какие на тебе трусики?

– Тоже красные.

– Не дождусь, когда тебя в них увижу, – сказал он и про-  
стился. Ему казалось, что он нашел правильный тон. На ми-  
нуту стало легче, но только на минуту. Он почувствовал,  
что не способен ни о чем думать, кроме Ружены, и что сего-  
дняшние разговоры с женой придется свести к минимуму.  
Он остановился у кассы кинотеатра, где показывали амери-  
канский вестерн, и купил два билета.

Хотя красота Камилы Климовой затмевала ее болезненность, больной она все-таки была. По причине слабого здоровья несколько лет назад ей пришлось расстаться с певческой карьерой, в свое время приведшей ее в объятия нынешнего супруга.

Красивую молодую женщину, привыкшую к поклонению, внезапно обдало вонью больничной карболки. Ей казалось, что между ее миром и миром мужа простираются теперь горные цепи.

Когда в такие минуты Клима видел ее печальное лицо, у него разрывалось сердце, и он протягивал к ней (поверх этих вымышленных гор) руки, полные любви. Камила поняла, что в ее печали – нежданная сила, которая влечет Климу, умиляет его и доводит до слез. И потому неудивительно, что она стала (возможно, даже неосознанно, но тем чаще) прибегать к этому внезапно найденному инструменту. Ведь только в минуты, когда он любовался ее болезненным лицом, она могла быть более или менее уверена, что в его мыслях не соперничает с ней никакая другая женщина.

Ибо эта красавица боялась соперниц и замечала их повсюду. Они никогда и нигде не ускользали от нее. Она умела обнаружить их в тоне его голоса, которым Клима здоровался с ней. Умела почувствовать их по запаху его одежды.

Недавно она нашла на его столе клочок бумаги, оторванный от края газеты, где его рукой была проставлена дата. Разумеется, речь могла идти о самых разных вещах: о репетиции оркестра, о встрече с продюсером, но она в течение месяца думала лишь о том, с какой женщиной в условленный день встретится Клима, и весь месяц плохо спала.

Но если ее так ужасал коварный мир женщин, то почему за утешением она не могла отправиться в мир мужчин?

Трудно. Ревность обладает удивительной способностью высвечивать яркими лучами лишь одного-единственного мужчину, а толпы всех прочих оставлять в крошечной тьме. Мысль пани Климовой способна была устремляться исключительно в направлении этих мучительных лучей, и ее муж стал для нее единственным мужчиной на свете.

Сейчас она услышала поворот ключа в замочной скважине и увидела трубача с букетом роз.

В первую минуту она ощутила радость, но следом отозвались сомнения: почему он принес букет уже сегодня, когда день ее рождения только завтра? Что это значит?

– Завтра тебя здесь не будет? – приветствовала она его вопросом.



То, что он принес розы уже сегодня, еще вовсе не означало, что завтра его здесь не будет. Но ее подозрительные щупальца, никогда не дремлющие, вечно ревнивые, способны были далеко вперед улавливать каждое потаенное намерение мужа. Всякий раз, когда Клима осознавал существование этих страшных щупальцев, которые оголяли его, выслеживали и разоблачали, его охватывало безнадежное чувство усталости. Он ненавидел их, убежденный, что если его браку что-то и угрожает, так это только они. Он всегда считал (и в этом смысле совесть его была воинственно чистой), что если иной раз и обманывает жену, то исключительно из желания пощадить ее, оградить от ненужных волнений, и что своей подозрительностью она лишь обрекает себя на муки.

Он смотрел на ее лицо и читал на нем подозрение, печаль и дурное настроение. Его охватило желание хлопнуть букетом об пол, но он овладел собой, зная, что в ближайшем будущем ему придется сдерживать себя и в куда более сложных ситуациях.

– Ты недовольна, что я принес цветы уже сегодня? – сказал он, и жена, почувствовав в голосе мужа раздражение, поблагодарила его и пошла наполнить вазу водой.

– Чертов социализм, – высказался чуть погодя Клима.

– В каком смысле?

– Да вот, пожалуйста. Нас без конца заставляют выступать за спасибо. То во имя борьбы с империализмом, то по случаю годовщины революции или дня рождения какого-нибудь руководящего босса, и, если я хочу, чтобы наш оркестр не разогнали, приходится со всем соглашаться. Не представляешь, как сегодня я озверел.

– А что случилось? – спросила она без всякого интереса.

– На репетицию к нам заявила одна референтка из национального комитета и давай нас поучать, что мы должны играть и что не должны, а под конец обязала нас дать даровой концерт для Союза молодежи. Но самое скверное, что завтра целый день я должен торчать на одной идиотской конференции, где нам преподадут урок, какая музыка лучше всего содействует строительству социализма. Загубленный день, на чисто загубленный! И главное, это день твоего рождения!

– Не станут же тебя там держать до поздней ночи!

– Нет, конечно. Но представляешь, в каком настроении я вернусь. Поэтому я хотел спокойно провести с тобой часок-другой сегодня вечером, – сказал он и взял жену за руки.

– Ты хороший, – сказала Камила, и Клима понял по ее голосу, что она не верит ни единому слову из того, что он говорил о завтрашней конференции. Но она не осмеливалась выразить ему свое недоверие, зная, что оно доводит его до бешенства. Хотя Клима уже давно не надеялся на ее доверие вне зависимости от того, говорил он правду или ложь, он всегда подозревал ее в том, что она подозревает его. Но ему

ничего не оставалось, как продолжать говорить так, будто он верит, что она верит ему, а она (с печальным и чужим лицом) задавала ему вопросы о завтрашней конференции, делая вид, что не сомневается в ее существовании.

Потом она ушла в кухню приготовить ужин. Пересолила его. Она всегда готовила с удовольствием и превосходно (жизнь не избаловала ее и не отучила от хозяйских забот), и Клима знал, что если на сей раз ужин не удался ей, то лишь потому, что она страдала. Он представил себе болезненно резкое движение, каким она сыпанула в пищу лишку соли, и сердце у него сжалось. Ему казалось, что в пересоленных кусках он постигает вкус ее слез и глотает свою собственную провинность. Он знал, что Камилу терзает ревность, знал, что она опять не будет спать ночью, и потому был полон желания гладить ее, целовать, убаюкивать, но тут же осознавал, что все это пустое, ибо ее щупальца в этой нежности обнаружили бы только его нечистую совесть.

Наконец они пошли в кино. Герой картины, с завидной уверенностью избегавший вероломных ловушек, некоторым образом приободрял Климу. Он представлял себя на его месте, и подчас ему казалось, что уговорить Ружену сделать аборт – сущая малость, с которой он благодаря своему обаянию и своей счастливой звезде играючи справится.

Потом они легли рядом в широкую кровать. Он смотрел на нее. Она лежала на спине, голова была вжата в подушку, подбородок слегка вздернут, глаза устремлены в потолок, и в

этой напряженной вытянутости ее тела (она всегда напоминала ему струну, он говорил ей, что у нее «душа струны») он вдруг в одно мгновение увидел всю ее сущность. Да, иногда случалось (это были волшебные минуты), что он вдруг в ее единственном жесте или движении провидел всю историю ее тела и души. Это были минуты не только какого-то абсолютного ясновидения, но и абсолютного умиления; ведь эта женщина любила его, еще когда он ровно ничего не значил, была готова ради него пожертвовать всем, вслепую угадывала все его мысли, и потому он мог говорить с ней об Армстронге и Стравинском, о разных глупостях и печалях, она была самым близким человеком на свете... Сейчас он вдруг представил себе это сладкое тело, это сладкое лицо мертвыми и понял, что ни дня не прожил бы без нее. Он знал, что способен оберегать ее до последнего вздоха, способен отдать за нее жизнь.

Но это ощущение исступленной любви было лишь мгновенным проблеском, ибо его мозг был целиком обуян тревогой и страхом. Он лежал рядом с Камиллой, знал, что бесконечно любит ее, но мыслями был не с ней. Он гладил ее по лицу, словно гладил ее из необозримой, простершейся на многие сотни километров дали.

# День второй

## 1

Было около девяти утра, на окраине курорта (дальше проезд был запрещен) остановился элегантный белый автомобиль, и из него вышел Клима.

По центру курорта тянулся длинный парк с редкими деревьями, газоном, посыпанными песком дорожками и разноцветными скамейками. С обеих сторон парк обрамляли курортные здания, среди них и дом Маркса, где жила медсестра Ружена и где в ее маленькой комнатухе трубач провел два роковых ночных часа. Напротив дома Маркса по другую сторону парка стояло самое красивое здание курорта в модернистском стиле начала века, украшенное богатой лепниной и мозаикой, венчающей широкий портал. Ему единственному выпала честь сохранить неизменным свое первоначальное название Ричмонд.

– Здесь еще живет пан Бертлеф? – спросил Клима привратника; получив утвердительный ответ, он вбежал по красному ковру на второй этаж и постучал в дверь.

Войдя, он увидел Бертлефа, направлявшегося к нему в пижаме. Клима извинился за свое внезапное вторжение, но Бертлеф прервал его:

– Друг мой! Не извиняйтесь! Вы подарили мне величайшую радость, какой в эти утренние часы здесь меня никто не удостаивал!

Он пожал Климе руку и продолжал:

– В этой стране люди не ценят утра. Через силу просыпаются под звон будильника, который разбивает их сон, как удар топора, и тотчас предаются печальной суете. Скажите мне, каким может быть день, начатый столь насильственным актом! Что должно происходить с людьми, которые всedневно с помощью будильника получают небольшой электрический шок! Они изо дня в день привыкают к насилию и изо дня в день отучаются от наслаждения. Поверьте мне, характер людей формируют их утра.

Бертлеф нежно обнял Климу за плечи и, усадив в кресло, сказал:

– А я так упоительно люблю эти утренние часы бездействия, по которым, как по мосту, украшенному скульптурами, перехожу из ночи в день, из сна в бдение. Это часть дня, когда я был бы несказанно благодарен за маленькое чудо, за неожиданную встречу, какая убедила бы меня, что сны моей ночи сбываются и что между авантюрами сна и авантюрами яви не зияет пропасть.

Трубач наблюдал, как Бертлеф в пижаме ходит по комнате, приглаживая рукой поседевшие волосы, и отмечал про себя, что в звучной речи Бертлефа ощутим неистребимый американский акцент, а в выборе слов – забавная старомод-

ность, легко объяснимая тем, что на своей исконной родине он никогда не жил и родной язык слышал лишь в семейном исполнении.

– И никто, друг мой, – склонился он к Климе с доверительной улыбкой, – никто в этом курортном городишке не способен понять меня и пойти мне навстречу. Даже медицинские сестры, в основном доступные, неприязненно хмурятся, стоит мне предложить им провести со мной несколько веселых минут за завтраком, и потому я вынужден переносить все свидания на вечер, когда чувствую себя немного усталым.

Затем, подойдя к столику с телефоном, он спросил:

– Когда вы приехали?

– Утром, – сказал Клима. – На машине.

– Несомненно, вы голодны, – сказал Бертлеф и поднял трубку. Заказал завтрак на двоих: – Четыре яйца всмятку, сыр, масло, рогалики, молоко, ветчину, чай.

Тем временем Клима обвел взглядом комнату. Большой круглый стол, стулья, кресла, зеркало, два дивана, дверь в ванную и другие соседние помещения, где, помнилось, была небольшая спальня. Здесь, в этих великолепных покоех, все и началось. Здесь сидели подвыпившие ребята из его оркестра; дабы развлечь их, богатый американец позвал нескольких медсестер.

– Да, – сказал Бертлеф, – этой картины, на которую вы смотрите, здесь тогда не было.

Только сейчас трубач заметил картину, на которой был изображен бородатый человек со странным голубым диском вокруг головы, в руках он держал кисть и палитру. Картина выглядела неумело написанной, но трубач знал, что многие картины, выглядевшие неумело написанными, стали знаменитыми.

– Кто это рисовал?

– Я, – ответил Бертлеф.

– Не знал, что вы рисуете.

– Рисую с превеликим удовольствием.

– А кто это?

– Святой Лазарь.

– Разве Лазарь был художник?

– Это не библейский Лазарь, а святой Лазарь, монах, живший в девятом веке в Константинополе. Это мой патрон.

– Вот как, – сказал трубач.

– Это был необычайный святой. Его мучили не язычники за то, что он веровал в Христа, а злобные христиане, ибо он любил рисовать. Вероятно, вы знаете, что в восьмом и девятом веках в греческой церкви царил жесткий аскетизм, нетерпимый к любым светским радостям. И живопись, и скульптура воспринимались как нечто порочно сибаритское. Император Теофил повелел уничтожить тысячи прекрасных картин, а моему обожаемому Лазарю запретил рисовать. Но Лазарь знал, что своими картинами он прославляет Бога, и не сдавался. Теофил держал его в темнице, подвергал пыт-



кам, требуя, чтобы Лазарь отсекся от кисти, но Бог был к нему милостив и дал ему силу выдержать страшные муки.

– Красивая легенда, – учтиво сказал трубач.

– Превосходная. Но вы определенно пришли ко мне по другому поводу, а вовсе не для того, чтобы посмотреть на мои иконки.

Раздался стук в дверь, вошел официант с большим подносом. Поставив его на стол, он накрыл для обоих мужчин завтрак.

Бертлеф, пригласив трубача к столу, сказал:

– Завтрак не настолько пышный, чтобы помешать нам продолжить беседу. Выкладывайте, что вас тревожит!

И трубач, разжевывая пищу, стал излагать свою историю, вынуждавшую Бертлефа неоднократно прерывать его навоящими вопросами.

Прежде всего он попытался выяснить, почему Клима не ответил сестре Ружене ни на одну из ее открыток, скрывался от нее и сам ни разу не сделал какого-либо дружеского жеста, который продолжил бы их любовную ночь тихим, умиротворяющим отголоском.

Клима признался, что вел себя нелепо и недостойно. Однако переломить себя не мог. Всякое дальнейшее общение с этой девушкой претило ему.

– Соблазнить женщину, – хмуро сказал Бертлеф, – умеет каждый дурак. Но по умению расстаться с ней познается истинно зрелый мужчина.

– Верно, – с грустью согласился трубач, – но это отвращение, эта непреодолимая антипатия во мне сильнее любого благого порыва.

– Скажите пожалуйста, – удивился Бертлеф, – вы женоненавистник?

– Ходит такая молва.

– Но откуда это у вас? Вы не выглядите ни импотентом, ни гомосексуалистом!

– Я и вправду не импотент и не гомосексуалист. Это кое-что похуже, – меланхолично обронил трубач. – Я люблю свою собственную жену. Это моя эротическая тайна, которая для большинства людей совершенно непостижима.

Это признание было настолько трогательным, что оба мужчины ненадолго умолкли. Затем трубач заговорил снова:

– Этого никто не понимает, и менее всех моя жена. Она думает, что любовь выражается лишь в том, что для вас не существует других женщин. Это форменная чушь! Меня постоянно влечет к той или иной чужой женщине, но стоит мне овладеть ею, какая-то мощная пружина отбрасывает меня от нее назад к Камиле. Иногда мне кажется, что я ищу других женщин только ради этой пружины, ради этого броска и восхитительного полета (полного нежности, желания и смирения) к собственной жене, которую с каждой новой изменой люблю все больше.

– Получается, сестра Ружена была для вас лишь утверждением в моногамной любви.

– Да, – сказал трубач. – И весьма приятным утверждением. Ибо сестра Ружена обладает особым очарованием, когда видишь ее впервые, однако ее очарование с немалой для тебя пользой в течение двух часов целиком исчерпывает себя; тебя уже ничто не влечет к продолжению этой связи, и пружина мощно отбрасывает тебя в прекрасный обратный полет.

– Милый друг, я вряд ли мог бы доказать на другом примере успешнее, чем на вашем, сколь грешна преувеличенная любовь.

– Я полагал, что любовь к жене – единственное, что есть во мне хорошего.

– И вы ошибались. Ваша преувеличенная любовь к же-

не является не искупительным противовесом вашего бессердечия, а его источником. Поскольку ваша жена для вас все, остальные женщины для вас ничто, или, попросту говоря, потаскухи. Но это великое кощунство и великое неуважение к творениям Божьим. Милый друг, этот тип любви не что иное, как ересь.

Бертлеф отодвинул в сторону пустую чашку, встал из-за стола и ушел в ванную, откуда до Климы донесся звук текущей воды, а минутой позже голос Бертлефа:

– Вы полагаете, что человеку дано право умерщвлять зачатого ребенка?

Уже увидев изображенного бородача с нимбом, Клима несколько смутился. Он помнил Бертлефа добродушным бонвиваном, и ему вовсе не приходило на ум, что он человек верующий. И сейчас у него сжалось сердце – он испугался, что услышит нравоучения и его единственный оазис в пустыне этого городка покроется песком. Приглушенным голосом он спросил:

– Вы относитесь к тем, кто называет это убийством?

Бертлеф ответил не сразу. Затем вышел из ванной одетым в повседневный костюм и тщательно причесанным.

– Убийство – слово, слишком отдающее электрическим стулом, – сказал он. – Речь о другом. Видите ли, я думаю, что жизнь надо принимать во всех ее проявлениях. Это первая заповедь еще до Десятословия. Все события в руках Божьих. И мы ничего не ведаем об их завтрашней судьбе, иными словами, я хочу сказать, что принимать жизнь во всех ее проявлениях означает принимать непредвиденное. А ребенок – это концентрация непредвиденного. Ребенок – сама непред-

виденность. Вам не дано знать, что из него получится, что он принесет вам, и именно потому вы должны принять его. Иначе вы живете лишь вполовину, живете как человек, не умеющий плавать и плещущийся у берега, тогда как настоящее море только там, где оно глубоко.

Трубач намекнул, что ребенок не его.

– Допустим, – сказал Бертлеф. – Но искренне признайтесь и в том, что вы столь же настойчиво уговаривали бы Ружену сделать аборт, будь ребенок ваш. Вы делали бы это ради своей жены и грешной любви, какую к ней питаете.

– Да, признаюсь, – сказал трубач, – я уговаривал бы ее сделать аборт при любых обстоятельствах.

Бертлеф стоял, прислонясь к косяку двери, ведущей в ванную, и улыбался.

– Я понимаю вас и не собираюсь переубеждать. Я слишком стар для того, чтобы стремиться исправить мир. Я сказал вам, что думаю, и все тут. Я останусь вашим другом, хотя вы и будете поступать вопреки моим убеждениям, и постараюсь помочь вам даже при моем несогласии с вами.

Трубач взглянул на Бертлефа, изрекшего последнюю фразу бархатым голосом мудрого проповедника. Он казался ему величественным. Похоже было, что все сказанное Бертлефом может стать легендой, притчей, примером, главой из некоего современного Евангелия. Трубачу хотелось (мы поймем его, он был взволнован и склонен к преувеличенным жестам) отвесить ему глубокий поклон.

– Я помогу вам по мере возможностей, – продолжал Бертлеф. – Сейчас мы зайдем к моему другу главному врачу Шкрете, который ради вас позаботится о медицинской стороне дела. Однако скажите мне, как вы хотите принудить Ружену к решению, которому она противится?

Трубач изложил свой план, и Бертлеф сказал:

– Это напоминает мне историю, случившуюся со мной во времена моей авантюрной молодости, когда я работал в порту докером. Завтрак нам разносила девушка с необычайно добрым сердцем, не умевшая никому ни в чем отказать. Но за такую доброту сердца (и тела) мужчины, как правило, платили скорее грубостью, чем благодарностью, так что я был единственным, кто относился к ней с почтительной нежностью, хотя как раз у меня с ней ничего и не было. Моя нежность привела к тому, что она влюбилась в меня. Если бы я в конце концов не переспал с ней, я унизил бы ее и причинил бы ей боль. Но случилось это один-единственный раз, и я тут же объяснил ей, что по-прежнему сохраню к ней самое нежное чувство, но любовниками мы не будем. Она расплакалась, убежала, перестала со мной здороваться и еще откровеннее стала отдаваться другим. Спустя два месяца она объявила мне, что беременна от меня.

– Значит, вы были в таком же положении! – воскликнул трубач.

– О, друг мой, – сказал Бертлеф, – неужто вы не знаете, что происходящее с вами – история всех мужчин на свете?

– И как же вы поступили?

– Я вел себя так же, как собираетесь вести себя вы, с одной



только разницей. Вы собираетесь разыгрывать перед Руженой любовь, тогда как я действительно любил ту несчастную девушку, всеми униженную и обиженную, которая впервые познала со мной, что такое нежность, и не хочет лишиться ее. Я понимал, что она любит меня, и не мог сердиться за то, что она проявляет эту любовь так, как умеет, пользуясь теми средствами, какие ей подсказывает ее невинная подлость. И вот что я сказал ей: «Я знаю, что забеременела ты от кого-то другого. Но знаю и то, что эту ложь ты употребила во имя любви, и за эту любовь я хочу отплатить тебе любовью. Мне все равно, от кого у тебя ребенок, но если ты хочешь, я женюсь на тебе».

– Сущее безумие!

– И все же, возможно, более плодотворное, чем ваши продуманные действия. Когда я еще несколько раз повторил этой шлюшке, что люблю ее и женюсь на ней даже с ребенком, она расплакалась и призналась, что обманула меня. Сказала, что именно моя доброта позволила ей понять, что она недостойна меня и никогда не сможет стать моей женой.

Трубач задумчиво молчал, а Бертлеф добавил:

– Я был бы рад, если бы эта история могла послужить вам своего рода притчей. Не пытайтесь разыгрывать перед Руженой любовь, а постарайтесь действительно полюбить ее. Постарайтесь пожалеть ее. И даже если она обманула вас, постарайтесь в этом обмане увидеть ее способ любви. Я уверен, что она не устоит перед силой вашей доброты и сама все

устроит так, чтобы не причинить вам вреда.

Слова Бертлефа произвели на трубача сильное впечатление. Но когда он более явственно представил себе облик Ружены, то понял, что путь любви, указанный Бертлефом, проторить ему не дано; что это путь святых, а не простых смертных.

Ружена сидела за столиком в большом зале, где вдоль стен были кушетки, на которых отдыхали после водных процедур женщины. Она взяла у двух вошедших пациенток курортные карты, отметила в них дату, выдала ключи от раздевалок, полотенце и длинную простыню. Затем, взглянув на часы, направилась (в одном белом халате на голом теле, так как в облицованных кафелем залах стоял густой горячий пар) в задний зал к бассейну, где в чудодейственной родниковой воде барахтались десятка два голых женщин. Трех она окликнула по имени и объявила им, что время, отведенное для купания, истекло. Дамы послушно выскочили из бассейна, затрясли большими грудями, с которых стекала вода, и, подпрыгивая, последовали за Руженой в переднее помещение. Там дамы улеглись на свободные кушетки, и Ружена одну за другой обернула в простыню, вытерла им кончиком материи глаза и набросила на них еще по теплomu одеялу. Дамы улыбались Ружене, но она не отвечала им улыбкой.

Мало приятного родиться в маленьком городке, куда ежегодно наезжает десять тысяч женщин, но где почти не бывает ни одного молодого мужчины; уже в пятнадцать лет женщина способна здесь точно предугадать все эротические возможности, отпущенные ей до конца дней, если она не сменит места проживания. Но сменить место проживания? Здрав-

ница, в которой она работала, очень неохотно расставалась со своими служащими, да и родители Ружены приходили в неистовство при любом намеке на переселение.

Нет, эта девушка, пусть и старалась вполне добросовестно выполнять свои обязанности, отнюдь не пылала любовью к пациенткам. Приведем три причины.

Зависть: они приехали сюда от мужей, от любовников, из мира бесчисленных возможностей, недоступных ей, хотя у нее и грудь красивее, и ноги длиннее, и лицо правильнее.

Кроме зависти, нетерпение: они являлись сюда со своими далекими судьбами, а она была здесь без судьбы, в прошлом году такая же, как и в нынешнем; ее бесило, что отпущенное ей время в этом маленьком поселке протекает без событий, и она, несмотря на свою молодость, постоянно думала о том, что жизнь ускользнет от нее раньше, чем она вообще начнет ее проживать.

И в-третьих: она испытывала инстинктивное отвращение к этому скопищу, обесценивавшему отдельно взятую женщину. Ее обступала печальная инфляция женских грудей, среди которых даже такие красивые груди, как у нее, утрачивали ценность.

По-прежнему не улыбаясь, она уже успела закутать последнюю из трех дам, когда в зал заглянула ее худая сослуживица и крикнула ей:

– Тебя к телефону!

Вид у нее был столь торжественный, что Ружена сразу по-

няля, кто звонит. Зардевшись, она зашла за кабинки, подняла трубку и назвала свое имя.

Клима поздоровался и спросил, когда у нее найдется для него время.

– Я кончаю в три, – ответила она, – в четыре мы можем встретиться.

Затем стали договариваться о месте встречи. Ружена предложила самый большой на курорте винный погребок, открытый в течение всего дня. Худая сослуживица, стоявшая рядом с Руженой и не сводившая глаз с ее губ, утвердительно кивнула. Но трубач возразил, сказав, что предпочел бы встретиться с Руженой в более уединенном месте, и предложил ей выехать на его машине за пределы курорта.

– Лишнее. Куда нам еще ехать, – сказала Ружена.

– Будем одни.

– Если ты стыдишься меня, незачем вообще сюда приезжать, – сказала Ружена, и ее сослуживица вновь утвердительно кивнула.

– Я не это имел в виду, – сказал Клима. – Ну что ж, буду ждать тебя в четыре у винного погребка.

– Отлично, – сказала худая, когда Ружена повесила трубку. – Он хотел бы увидеться с тобой где-нибудь тайком, но ты должна стремиться к тому, чтобы вас видело как можно больше народу.

Ружена постоянно пребывала в сильном возбуждении, а перед свиданием особенно нервничала. Сейчас ей было

трудно даже представить себе Климу. Как он выглядит? Как улыбается, как ведет себя? От их единственной встречи у нее осталось очень смутное воспоминание. Сослуживицы тогда очень подробно расспрашивали ее о трубаче: какой он, что говорит, как выглядит раздетым и как умеет любить. Но она не могла ни о чем говорить и лишь повторяла, что это было «как сон».

И это была не пустая фраза. Мужчина, с которым она провела два часа в постели, сошел к ней с афиш. Его фотография на время обрела трехмерную материальность, температуру и вес, но затем снова стала нематериальным и бесцветным образом, размноженным в несчетных экземплярах и потому еще более абстрактным и нереальным.

Да, именно потому, что он тогда так быстро ускользнул от нее в свой графический знак, в ней осталось неприятное ощущение его совершенства. Она не могла уцепиться ни за одну деталь, которая бы принизила его и приблизила. Когда он был далеко, она была полна решительной воинственности, но теперь, в предчувствии его близости, утратила смелость.

– Держись, – сказала ей худая. – Буду болеть за тебя.

Когда Клима закончил разговор с Руженой, Бертлеф взял его под руку и повел к дому Маркса, где практиковал и жил доктор Шкрета. В приемной сидели несколько женщин, но Бертлеф решительно постучал четыремя короткими ударами в дверь кабинета. Спустя минуту вышел высокий мужчина в белом халате и очках над объемистым носом. Ожидавшим приема женщинам он сказал: «Простите, одну минуту», и повел обоих мужчин в коридор, а оттуда в свою квартиру, расположенную этажом выше.

– Как поживаете, маэстро? – обратился он к трубачу, когда все трое уселись. – Когда мы вас снова увидим здесь с концертом?

– Никогда в жизни, – ответил Клима. – Этот курорт приносит мне одни неприятности.

Бертлеф объяснил доктору Шкрете, что приключилось с трубачом, и трубач вслед за этим сказал:

– Я хотел попросить вас помочь мне. Прежде всего я хотел бы знать, действительно ли она беременна. Может, просто задержка. Или она вешает мне лапшу на уши. Когда-то давно такую штуку проделала со мной одна девушка. Кстати, тоже блондинка.

– Вам не стоит связываться с блондинками, – сказал доктор Шкрета.

– Да, – согласился Клима. – Блондинки – мое несчастье. Пан главврач, это было чудовищно. Я умолял ее пойти провериться у врача. Но на ранней стадии беременности ничего с точностью определить нельзя. Поэтому я хотел, чтобы ей сделали анализ на мышах. Мочу вводят в мышь, и если у нее набухают яичники...

– ...значит дама беременна, – дополнил его доктор Шкрета.

– Она понесла в бутылочке утреннюю мочу, я сопровождал ее, но у самой поликлиники бутылочку уронила на тротуар. Я кинулся к этим осколкам в надежде сохранить хоть несколько капель! Я вел себя так, словно она уронила чашу Грааля! Она разбила ее нарочно, потому что знала, что не беременна, и хотела как можно дольше продлить мои муки.

– Типичное поведение блондинок, – невозмутимо сказал доктор Шкрета.

– Вы полагаете, что блондинки отличаются от брюнеток? – сказал Бертлеф, в ком опытность Шкреты по части женщин вызывала некоторые сомнения.

– Разумеется, – сказал доктор Шкрета. – Светлые и темные волосы – два полюса человеческого характера. Темные волосы означают мужественность, смелость, искренность и активность, тогда как светлые символизируют женственность, нежность, беспомощность и пассивность. Блондинка, стало быть, вдвойне женщина. Принцесса должна быть белокурой. Поэтому женщины, желая быть в высшей степени



женщинами, красят волосы в блондинистый, но никак не в черный цвет.

– Было бы весьма любопытно знать, каким образом пигменты оказывают влияние на человеческую душу, – с сомнением сказал Бертлеф.

– Речь не о пигментах. Блондинка непроизвольно уподобляется своим волосам. Еще в большей мере это происходит тогда, когда блондинка – на самом деле перекрашенная брюнетка. Она хочет быть верной своему цвету и прикидывается созданием хрупким, куколкой для игры, требуя по отношению к себе нежности и услужливости, деликатности и алиментов; не умея ничего делать своими руками, внешне она сама утонченность, а внутри хамство. Если бы темные волосы стали всемирной модой, на свете жилось бы значительно лучше. Это была бы самая полезная социальная реформа, какая когда-либо осуществлялась.

– Так что Ружена тоже, вполне вероятно, просто дурачит меня. – Клим попытался извлечь из слов Шкреты хоть какую-то надежду.

– Нет. Позавчера я осмотрел ее. Она беременна, – сказал доктор Шкрета.

Бертлеф заметил позеленевшее лицо трубача и сказал:

– Пан доктор, вы, однако, председатель комиссии, разрешающей аборт.

– Да, – сказал Шкрета. – В пятницу у нас заседание.

– Превосходно, – сказал Бертлеф. – И надо бы поторо-

питься с этим, ибо наш друг может не вынести напряжения. Я знаю, что в этой стране аборты разрешаются с трудом.

– С величайшим трудом, – сказал доктор Шкрета. – У меня в комиссии две бабы, представляющие народовластие; они страшны как война и потому на дух не переносят всех наших посетительниц. А знаете ли вы, кто на свете самые ярые женоненавистники? Женщины. Друзья мои, ни один мужчина, даже пан Клима, которому уже две женщины пришили свою беременность, не испытывает к ним такой ненависти, какую испытывают они к себе подобным. Как вы думаете, ради чего женщины вообще домогаются нас? Ради того лишь, чтобы уязвить и унижить своих сотоварок. Создатель вложил в сердца женщин ненависть к другим женщинам, ибо хотел, чтобы род людской размножался.

– Я постараюсь немедленно простить вам ваши слова, – сказал Бертлеф, – так как хочу вернуться к делу нашего друга. В этой комиссии как-никак ваше слово решающее, и эти страшные бабы примут вашу сторону.

– Да, там мое слово решающее, но я все равно хочу бросить это занятие. Оно не приносит мне ни гроша. Маэстро, сколько вы зарабатываете за один концерт?

Сумма, названная Климой, явно произвела на доктора Шкрету впечатление.

– Нередко прихожу к мысли, что я мог бы подрабатывать музыкой, – сказал он. – Я вполне сносно играю на барабане.

– Вы играете на барабане? – с подчеркнутой заинтересо-

ванностью спросил трубач.

– Да, – сказал доктор Шкрета. – У нас в клубе рояль и барабан. В свободное время я играю на барабане.

– Великолепно! – воскликнул трубач, благодарный за возможность польстить главному врачу.

– Но у меня здесь нет партнеров, чтобы организовать настоящий оркестр. Разве что аптекарь довольно прилично играет на рояле. Раз-другой мы пробовали сыграть. Знаете что? – задумался он. – Когда Ружена придет на комиссию...

– О, только бы пришла! – вздохнул Клима.

Доктор Шкрета махнул рукой:

– Туда все с радостью приходят. Но на комиссии требуется и присутствие отца, так что вам придется явиться вместе с ней. А чтобы вам не приезжать сюда только ради этой ерунды, вы могли бы приехать накануне, и мы вечером дали бы концерт. Труба, рояль, барабан. Tres faciunt orchestrum<sup>1</sup>. Если на афише будет ваше имя, аншлаг обеспечен. Как вы к этому относитесь?

Клима всегда был даже слишком требователен к профессиональному совершенству своих выступлений, и предложение главного врача еще вчера показалось бы ему просто-напросто абсурдным. Сегодня же его не волновало ничего, кроме чрева одной-единственной медсестры, и потому на вопрос главного врача он ответил учтивым восторгом:

– Это было бы великолепно!

---

<sup>1</sup> Трое составляют оркестр (лат.).

– В самом деле? Вы за?

– Разумеется.

– А что вы думаете по этому поводу? – обратился Шкрета к Бертлефу.

– Что это замечательная идея. Не представляю, однако, как за неполных два дня вы успеете подготовиться.

Вместо ответа Шкрета встал и подошел к телефону. Набрал какой-то номер, но там никто не отозвался.

– Самое главное – немедленно сделать афиши, но наша секретарша, должно быть, обедает, – сказал он. – Освободить зал проще простого. Общество народного образования организует там в четверг лекцию по борьбе с алкоголизмом, которую должен прочесть мой коллега. Он будет счастлив, если я попрошу его сказать больным и отменить ее. А вам придется приехать уже в четверг в полдень, чтобы нам немного порепетировать и посмотреть, как у нас получается. Или это не обязательно?

– Нет, нет, – сказал Клима. – Обязательно. Перед концертом надо немного сыгаться.

– Я тоже так считаю, – согласился Шкрета. – Мы выбрали бы самый эффектный репертуар. Я отлично исполняю на барабане «Сент-Луис блюз» и «Святые маршируют». У меня подготовлено и несколько сольных номеров, любопытно, что вы на это скажете. Кстати, что вы делаете сегодня после обеда? Не хотите ли попробовать?

– К сожалению, сегодня после обеда мне предстоит угова-

ривать Ружену пойти на кюретаж.

Шкрета махнул рукой:

– Плюньте на это. Она пойдет на это и без уговоров.

– Пан главный врач, – просительно сказал Клима, – лучше в четверг.

– Я тоже думаю, что вам лучше подождать до четверга, – поддержал трубача Бертлеф. – Наш друг сегодня, пожалуй, не в силах сосредоточиться. Кроме того, по-моему, он не взял с собой трубы.

– И в самом деле, – согласился Шкрета и повел приятелей в ресторан напротив. Однако на улице их догнала медсестра Шкреты и настойчиво стала просить пана главного врача вернуться в кабинет. Доктор Шкрета извинился перед приятелями и послушно поплелся вслед за сестрой к своим бесплодным пациенткам.

В свою маленькую комнатнушку в доме Маркса Ружена переехала примерно полгода назад от своих родителей, проживавших в недалеком поселке. Она надеялась, что самостоятельное житье сулит ей невесть какие радости, но за это время поняла, что комнатнушкой и свободой пользуется не столь успешно и разнообразно, как мечталось ей прежде.

Вернувшись с работы после трех часов дня, она была неприятно поражена тем, что дома ее ждет, развалившись на диване, отец. Его приход был некстати: она хотела сосредоточенно заняться своим туалетом, причесаться и тщательно выбрать то, что наденет.

– Что ты здесь делаешь? – спросила она его раздраженно, досадуя на привратника, который знал ее отца и готов был когда угодно в ее отсутствие открыть ему комнату.

– Выпала свободная минута, – сказал отец. – Сегодня у нас здесь учения.

Ее отец был членом добровольной дружины общественного порядка. Врачи посмеивались над стариками, которые с повязками на рукавах важно расхаживали по улицам, и поэтому Ружена стыдилась отцовской деятельности.

– Охота тебе, – проворчала она.

– Скажи спасибо, что твой папка никогда не бездельничал и не собирается бездельничать. Мы, пенсионеры, еще пока-

жем вам, молодым, на что горазды!

Ружена решила дать отцу высказаться, а самой тем временем продуманно выбрать платье. Она открыла шкаф.

– Хотелось бы знать, на что вы горазды, – сказала она.

– На многое. Это курорт мирового значения, девочка. А как все тут выглядит! Детвора носится по газонам!

– О господи! – выдохнула Ружена, роясь в платьях. Ни одно из них ей не нравилось.

– Если б только детвора, а то собак тьма! Национальный комитет давно постановил, чтоб собак водили на поводке и в наморднике! Да здесь никому дела до этого нет, каждый чудит как хочет. Ты только погляди, что там в парке!

Ружена вынула одно платье и стала раздеваться за полуоткрытой дверцей шкафа.

– Все обоссали! Даже песок на детской площадке! А теперь представь, что какой-нибудь ребенок играючи выронит в этот песок намазанный ломоть хлеба. А потом удивляешься, откуда столько болезней! Ты погляди-ка!

Отец подошел к окну:

– Только в эту минуту там свободно бегают четыре собаки.

Ружена вышла из-за дверцы шкафа и посмотрела на себя в зеркало. Но дома у нее было только маленькое настенное зеркало, в котором она видела себя едва ли до пояса.

– Это тебя вроде не волнует, так, что ли? – спросил отец.

– Почему же, волнует, – сказала Ружена, чуть отступая на цыпочках от зеркала, чтобы рассмотреть, как в этом платье

выглядят ее ноги, — но ты не сердись, я тороплюсь, мне срочно надо уйти.

— Я уважаю исключительно полицейских овчарок или охотничьих собак, — сказал отец. — Но не понимаю людей, которые держат собак в квартире. Женщины скоро перестанут рожать и в колясках будут возить пуделей!

Ружена была недовольна образом, возвращенным ей зеркалом. Она снова подошла к шкафу и стала выбирать платье, которое было бы ей больше к лицу.

— Мы постановили, что собаку можно держать в квартире только с согласия всех остальных жильцов дома на общем собрании. Кроме того, мы повысим налоги на собак.

— Да, у тебя забот невпроворот, — сказала Ружена, мысленно радуясь, что уже не должна жить в родительском доме. С детства отец отталкивал ее своими нотациями и указами. Она мечтала о мире, где люди говорят другим языком, нежели он.

— Нечего насмешничать. Собаки и впрямь очень серьезная проблема, и так думаю не только я, но и самые высокопоставленные лица. Верно, они забыли спросить тебя, что важно, а что нет. Ты, конечно, сказала бы, что на свете нет ничего важнее твоего платья, — сказал он, заметив, что дочь, снова спрятавшись за дверцу шкафа, переодевается.

— Разумеется, платье важнее твоих собак, — отрезала она и опять встала на цыпочках перед зеркалом. И опять себе не понравилась. Но недовольство самой собой в ней постепенно



перерастало в строптивость: она с ехидством подумала, что трубач будет рад принять ее и в этом дешевеньком платъице, и эта мысль доставила ей особое удовольствие.

– Это, прежде всего, вопрос гигиены, – продолжал отец. – Наши города никогда не будут чистыми, пока собаки гадят на тротуарах. Кроме того, речь идет о морали. Куда годится, чтобы люди баловали собак в своих жилищах.

Случилось то, что Ружена даже не осознавала: ее строптивость загадочно и незаметно сливалась с возмущением отца. Она уже не испытывала к нему прежней острой неприязни, напротив, черпала в его гневных речах энергию.

– Дома мы никогда никаких собак не держали и обходились без них, – сказал отец.

Она смотрелась в зеркало и чувствовала, что беременность наделяет ее небывалым преимуществом. Нравится она себе или нет, трубач приехал к ней и прелюбезно приглашает ее в винный погребок. Кстати (она посмотрела на часы), он уже сейчас ждет ее.

– Но мы наведем здесь порядок, девочка. Ты еще увидишь! – засмеялся отец, и она сказала ему уже спокойно, едва ли не с улыбкой:

– Хорошо, папа. Но теперь мне пора идти.

– И мне. Сразу продолжим учения.

Они вместе вышли из дома Маркса и тут же простились. Ружена медленно побрела к винному погребку.

Клима никогда не мог целиком вжиться в светскую роль популярного, всем известного артиста, и в период личных неурядиц воспринимал ее как крайнее неудобство и бремя. Когда он вошел в вестибюль ресторана и увидел на стене против гардероба свою большую фотографию на афише, висевшей там еще со времени последнего концерта, его охватило чувство тоски. Он вел девушку в зал, а сам невольно определял, кто из гостей узнает его. Он боялся глаз, ему казалось, что отовсюду они следят за ним, контролируют его, требуя от него определенного вида и поведения. Он поймал на себе несколько любопытных взглядов. Стараясь не замечать их, он направился к столику в конце зала, откуда в большое окно видны были кроны парка.

Они сели, он улыбнулся Ружене, погладил ее по руке и сказал, что платье идет ей. Она скромно возразила ему, но он настаивал на своем и пытался какое-то время не уклоняться от темы ее очарования. Сказал, что поражен ее внешностью. Что все два месяца думал о ней, однако все художественные усилия его воспоминаний создали образ, далекий от реальности. И удивительно: хотя он и думал о ней, изнывая от желания, ее настоящий облик превосходит тот, воображаемый.

Ружена заметила, что два месяца трубач вообще не давал о себе знать, и потому просто не верится, что он так много

думал о ней.

К этому замечанию он хорошо подготовился. Устало махнув рукой, он сказал, что ей трудно будет даже представить себе, как ужасно он провел эти два месяца. Девушка спросила, что же случилось с ним, но он не захотел вдаваться в подробности. Сказал лишь, что пережил удар великой неблагодарности и остался в полном одиночестве, без друзей, без единого близкого человека. Он несколько опасался, как бы Ружена не стала расспрашивать о подробностях его переживаний, ибо он легко мог запутаться во лжи. Опасения, правда, были напрасными. Хотя Ружену и впечатлили слова Климы о том, что он пережил дурной период, и она с удовлетворением приняла их как оправдание его двухмесячного молчания, собственное содержание его страданий оставляло ее совершенно равнодушной. В его грустных месяцах важна была для нее лишь сама грусть.

– Я много думала о тебе и была бы рада помочь, – сказала она.

– Мне так тошен был весь мир, что я боялся попасться кому-либо на глаза. Грустный собеседник – плохой собеседник.

– Мне тоже было грустно, – сказала она.

– Я знаю. – Он гладил ее по руке.

– Я уже давно поняла, что жду от тебя ребенка. А ты не отзывался. Но ребенка я все равно бы оставила, даже если бы ты и не приехал ко мне, даже если бы никогда не захотел

меня видеть. Я говорила себе: даже если останусь совсем одна, у меня будет хотя бы твой ребенок. Я никогда бы не дала его уничтожить. Нет, никогда...

В эту минуту Клима потерял дар речи, ибо все его мысли сковал тихий ужас.

К счастью, официант, лениво обслуживавший гостей, остановился наконец возле их столика и спросил, что им угодно.

– Коньяк, – вздохнул трубач и тотчас поправился: – Два коньяка.

И вновь наступила тишина, и Ружена вновь прошептала:

– Ни за что на свете я не дала бы его уничтожить.

– Не говори так, – наконец пришел в себя Клима. – Это же не только твое дело. Это касается не только женщины. Это касается обоих. И в этом деле оба должны быть заодно. Иначе все может плохо кончиться.

Договорив это, он тотчас смекнул, что именно сейчас он косвенно признал свое отцовство и что с этой минуты ему придется говорить с Руженой уже только на основании такого признания. Хотя он знал, что действует по плану, что это лишь уступка, которую он учитывал заранее, он все же испугался своих слов.

Но тут над ним склонился официант с двумя рюмками коньяка.

– Так вы пан трубач Клима!

– Да, – сказал Клима.

– Девушки на кухне узнали вас. Это же вы на этой афише?

– Да, – сказал Клима.

– Вы кумир всех женщин от двенадцати до семидесяти! – сказал официант и обратился к Ружене: – Все бабы глаза тебе от зависти повыцарапают! – Удаляясь, он несколько раз обернулся с назойливо-доверительной улыбкой.

Ружена снова повторяла:

– Я никогда не смогла бы его уничтожить. И когда-нибудь ты тоже будешь рад, что он есть у тебя. Я ведь ничего от тебя не хочу. Надеюсь, ты не думаешь, что я чего-то хочу от тебя. На этот счет будь совершенно спокоен. Это только мое дело, и пусть тебя ничего не тревожит.

Может ли что-нибудь больше взволновать мужчину, чем такие успокаивающие слова? Клима вдруг почувствовал, что он бессилен что-либо спасти и что самое лучшее от всего отступить. Он молчал, Ружена тоже молчала, так что сказанные ею слова продолжали расти в тишине, и трубач чувствовал себя перед ними все более беспомощным и несчастным.

Но вдруг в мыслях всплыл образ жены. Нет, у него нет права отступить. И он, продвинув руку по мраморной столешнице, взял пальцы Ружены, стиснул их и сказал:

– Забудь пока о ребенке. Ребенок вовсе не самое главное. Думаешь, нам с тобой не о чем больше говорить? Думаешь, я приехал к тебе только ради ребенка?

Ружена пожала плечами.

– Главное, что мне без тебя было грустно. Виделись мы так

мало. И при этом не проходило дня, чтобы я не вспоминал о тебе.

Он замолчал, и Ружена сказала:

– Целых два месяца ты вообще не отзывался, а я тебе два раза писала.

– Не сердись на меня, – сказал трубач. – Я умышленно не отвечал на твои письма. Не хотел. Боялся того, что творится во мне. Сопротивлялся любви. Хотел написать тебе длинное письмо, исписал не один лист бумаги, но в конце концов выбросил все. Никогда не случалось, чтобы я так был влюблен, и я ужаснулся этого. И почему бы мне не признаться? Я хотел проверить, не минутной ли очарованностью было мое чувство. И я сказал себе: если я и второй месяц буду так одержим ею, значит то, что я испытываю к ней, отнюдь не мираж, а реальность.

– А что ты сейчас думаешь? – тихо сказала Ружена. – Это всего лишь мираж?

После этой Ружениной фразы трубач понял, что задуманный план начинает у него вытанцовываться. Поэтому он, так и не отпуская руки девушки, продолжал говорить дальше, все свободнее и свободнее: в эту минуту, когда он сидит напротив нее, он понимает, что излишне подвергать свое чувство дальнейшему испытанию, все ясно и так. О ребенке он не хочет говорить, потому что для него главное – Ружена, а не ее ребенок. Значение этого нерожденного ребенка прежде всего в том, что он позвал его к Ружене. Да, этот ребенок,

который в ней, позвал его сюда на воды и дал ему возможность постичь, как он любит Ружену, а посему (он поднял рюмку коньяка) он хочет выпить за этого ребенка.

Конечно, он тут же испугался, до какого чудовищного тоста довело его столь вдохновенное красноречие. Но слова уже слетели с уст. Ружена подняла рюмку и прошептала:

– Да. За нашего ребенка, – и выпила коньяк.

Трубач быстро постарался замять этот неудачный тост и снова заявил, что вспоминал Ружену ежедневно, ежечасно.

Она сказала, что в столице трубач, несомненно, окружен более интересными женщинами, чем она.

Он ответил ей, что по горло сыт их неестественностью и самонадеянностью и всех их променял бы на Ружену, жалеет только, что она работает так далеко от него. А не хотела бы она перебраться в столицу?

Она ответила, что в столице жить было бы лучше. Но там нелегко устроиться на работу.

Снисходительно улыбнувшись, он сказал, что в столичных больницах у него много знакомых и найти для нее работу ему было бы несложно.

Держа Ружену за руку, он еще долго говорил в том же духе и даже не заметил, как к ним подошла незнакомая девочка. Нимало не смущаясь тем, что прерывает их разговор, она восторженно сказала:

– Вы пан Клима! Сразу узнала вас! Я хочу, чтоб вы вот тут поставили свое имя!

Клима покрылся краской. Он осознал, что держит Ружену за руку и объясняется ей в любви в общественном месте на глазах у всех присутствующих. Ему показалось, что он сидит здесь, точно на сцене амфитеатра, и весь мир, превращенный в забавляющую публику, со злорадным смехом наблюдает за его борьбой не на жизнь, а на смерть.

Девочка подала ему четвертушку бумажного листа, и Клима хотел было поскорей расписаться, однако ни у нее, ни у него не оказалось при себе ручки.

– У тебя нет ручки? – прошептал он Ружене, именно прошептал, поскольку не хотел, чтобы было слышно, как он обращается к Ружене на «ты». Правда, он тут же сообразил, что тыканье гораздо менее интимная вещь, чем то, что он держит Ружену за руку, и потому свой вопрос повторил уже громче: – У тебя нет ручки?

Но Ружена отрицательно покачала головой, и девочка вернулась к своему столику, где сидела в компании нескольких юношей и девушек; тут же, воспользовавшись случаем, они гурьбой повалили к Климе. Подали ему ручку и, вырывая из маленького блокнота по листочку, протягивали их для автографа.

С точки зрения намеченного плана все было в порядке. Чем больше людей оказывалось свидетелями их близости, тем скорее Ружена могла поверить в то, что она любима. Однако вопреки разуму иррациональность страха повергла трубача в панику. Он подумал было, что Ружена со всеми до-



говорила. В его воображении возникла туманная картина того, как все эти люди дают свидетельские показания о его отцовстве: «Да, мы их видели, они сидели друг против друга, как любовники, он гладил ее по руке и влюбленно смотрел ей в глаза...»

Страхи трубача еще усиливались его тщеславием; он не считал Ружену достаточно красивой, чтобы позволить себе держать ее за руку. Но он недооценивал ее: она была гораздо красивей, чем казалась ему в эту минуту. Подобно тому, как влюбленность делает любимую женщину еще красивей, страх перед вселяющей опасение женщиной непомерно преувеличивает каждый ее изъян.

Наконец все отошли от них, и Клима сказал:

– Это заведение мне не очень-то по душе. Прокатиться не хочешь?

Его машина вызывала в ней любопытство, и она согласилась. Клима расплатился, и они вышли из винного погребка. Напротив был небольшой парк с широкой аллеей, посыпанной желтым песком. Лицом к винному погребку стояло в ряд человек десять. Все это были пожилые мужчины, на рукавах измятой одежды у каждого была красная повязка, и все держали в руках длинные палки.

Клима замер:

– Что это?

Но Ружена сказала:

– Да ничего, покажи мне, где твоя машина, – и быстро

увлекла его за собой.

Но Клима был не в состоянии оторвать глаз от этих людей. Он никак не мог взять в толк, к чему эти длинные жерди с проволочными петлями на конце. Эти люди походили на фонариков, зажигающих газовые лампы, на рыбаков, отлавливающих летающих рыб, на ополченцев, вооруженных таинственным оружием.

Он смотрел на них, и вдруг показалось, что один улыбается ему. Он испугался этого, скорее испугался самого себя, решив, что у него галлюцинация и что он во всех людях видит кого-то, кто преследует его и выслеживает. И потому, ускорив шаг, поспешил за Руженой на стоянку.

– Я хотел бы уехать с тобой куда-нибудь далеко, – сказал он. Одной рукой он обнимал Ружену за плечи, другой – держал руль. – Куда-нибудь далеко на юг. По длинному шоссе, идущему вдоль побережья. Ты была в Италии?

– Нет.

– Тогда обещай поехать туда со мной.

– А ты не фантазируешь?

Ружена сказала это лишь из скромности, но трубач вдруг испугался, что ее «а ты не фантазируешь» относится ко всей его демагогии, которую она раскусила.

– Да, фантазирую. У меня всегда фантазерские идеи. Уж такой я. Но в отличие от других я свои фантазерские идеи осуществляю. Поверь, нет ничего более прекрасного, чем осуществлять фантазерские идеи. Я хотел бы, чтобы моя жизнь была сплошным фантазерством. Хотел бы, чтобы мы уже никогда не вернулись на этот курорт, чтобы ехали все дальше и дальше, пока не приедем к морю. Я устроился бы там в каком-нибудь оркестре, и мы ездили бы с тобой из одного приморского местечка в другое.

Он остановил машину там, где открывался чудесный вид на окрестности. Они вышли. Он предложил ей пройтись по лесу. Спустя какое-то время они сели на деревянную лавочку, сохранившуюся еще с той поры, когда здесь меньше про-

езжало машин и прогулки по лесу пользовались большим успехом. Обнимая ее за плечи, он сказал печальным голосом:

– Все думают, что у меня куда как веселая жизнь. Но это величайшая ошибка. На самом деле я ужасно несчастен. Не только эти последние месяцы, а уже долгие годы.

Если слова трубача о поездке в Италию показались ей фантазерством (из ее страны мало кто мог свободно выезжать за границу) и она испытывала к ним смутное недоверие, печаль, которой дышали его последние фразы, имела для нее сладостный запах. Она вдыхала его, словно аромат свиного жаркого.

– Как ты можешь быть несчастным?

– Могу ли я быть несчастным... – печально повторил трубач.

– У тебя слава, шикарная машина, деньги, красивая жена...

– Красивая, пожалуй, но... – сказал трубач горестно.

– Знаю, – сказала Ружена. – Но она уже не молода. Ей столько же, сколько тебе, да?

Трубач понял, что Ружена подробно информирована о его жене, и рассердился. Однако продолжал:

– Да, ей столько же, сколько мне.

– Подумаешь. Ты совсем не старый. Выглядишь как мальчишка, – сказала Ружена.

– Но мужчине нужна более молодая женщина, – сказал

Клима. – А артисту тем более. Мне нужна молодость, ты даже не представляешь, Ружена, как я люблю в тебе твою молодость. Иной раз мне кажется, что я больше не выдержу. У меня безумное желание освободиться. Начать все сначала и по-другому. Ружена, твой вчерашний звонок... У меня было такое чувство, что это указание, посланное мне судьбой.

– Правда? – сказала она тихо.

– А почему, думаешь, я тут же позвонил тебе снова? Я почувствовал, что не должен ничего откладывать. Что должен видеть тебя сию же минуту... – Он замолчал и долгим взглядом посмотрел ей в глаза: – Ты любишь меня?

– Люблю. А ты?

– Я ужасно тебя люблю, – сказал он.

– Я тоже.

Он наклонился и прижал свои губы к ее рту. Это был чистый рот, молодой рот с красиво очерченными мягкими губами и вычищенными зубами, все в нем было в порядке, ведь два месяца тому его тянуло целовать ее рот. Но именно потому, что тогда тянуло целовать этот рот, он воспринимал его сквозь пелену желания и ничего не знал о его истинной сути: язык во рту походил на пламя, а слюна была пьянящим напитком. Теперь рот, уже не манивший его, стал вдруг *реальным* (всего-навсего!) ртом, тем самым хлопотливым отверстием, сквозь которое в девушку вошли уже центнеры кнедликов, картошки и супов, на зубах виднелись маленькие пломбочки, а слюна была не пьянящим напитком,

а лишь родной сестрой плевка. Рот трубача был полон ее языка, словно это был какой-то несъедобный кусок, который нельзя ни проглотить, ни выплюнуть.

Наконец поцелуй кончился, они поднялись и пошли дальше. Ружена была почти счастлива, однако сознавала, что повод, по которому она звонила трубачу и принудила его приехать, так и остался в их разговоре странно обойденным. Впрочем, она и не собиралась о нем распространяться. Напротив, то, о чем они говорили сейчас, она считала более приятным и важным. Но ей хотелось, чтобы этот обойденный повод все-таки присутствовал в их встрече, пусть очень деликатно, неброско, скромно. И потому, когда Клима вслед за бесконечными любовными признаниями заявил, что сделает все возможное, чтобы жить с Руженой, она обронила:

– Ты очень хороший, но нам надо думать и о том, что я уже не одна.

– Да, – сказал Клима, сознавая, что сейчас настал момент, которого он непрестанно боялся: самое уязвимое место в его демагогии.

– Да, ты права, – сказал он. – Ты не одна, но это вовсе не главное. Я хочу быть с тобой потому, что люблю тебя, а не потому, что ты беременна.

– Понимаю, – вздохнула Ружена.

– Нет ничего более тягостного, чем брак, который возникает лишь из-за того, что по ошибке был зачат ребенок. Впрочем, дорогая, если говорить откровенно, я хочу, что-

бы ты снова стала такой, как прежде. Чтобы мы снова были только вдвоем и никого третьего между нами не было. Ты понимаешь меня?

— Ну нет, так не получится, я не могу, я никогда не смогла бы... — сопротивлялась Ружена.

Она говорила так не потому, что была действительно до глубины души убеждена в этом. Чувство уверенности, которое позавчера вселил в нее доктор Шкрета, было столь свежим, что она еще не знала, как быть с ним. Она не придерживалась никакого точно рассчитанного плана, она была лишь переполнена сознанием своей беременности и воспринимала ее как великое событие и еще более как шанс и возможность, которая так легко уже не представится. Она чувствовала себя пешкой, которая только что дошла до края шахматной доски и стала королевой. Она сладостно ощущала свою неожиданную и дотоле неизведанную силу. Она видела, что по ее призыву вещи приходят в движение, что знаменитый трубач приезжает к ней из столицы, катает ее на роскошной машине, объясняется ей в любви. Она не могла сомневаться в том, что между ее беременностью и этой внезапной силой существует определенная связь. И если она не хотела отказаться от этой силы, то не могла отказаться и от беременности.

Поэтому трубач продолжал толкать свой тяжелый камень в гору:

— Дорогая, я не мечтаю о семье. Я мечтаю о любви, а ре-

бенок превращает всякую любовь в семью. В скуку. В заботы. В тоску. И всякую любовницу в мать. Ты для меня не мать. Ты любовница, и я не хочу ни с кем делить тебя. Даже с ребенком.

Это были прекрасные слова, Ружена с удовольствием слушала их, но по-прежнему качала головой:

– Нет, я не смогла бы. Это все-таки твой ребенок. Я не смогла бы уничтожить твоего ребенка.

Не находя уже никаких новых аргументов, он повторял одни и те же слова и боялся, как бы она не уловила их неискренность.

– Но тебе уже тридцать, – сказала она. – Разве ты никогда не мечтал о ребенке?

Он и вправду не мечтал о ребенке. Он так любил Камилу, что ребенок рядом с ней мешал бы ему. Все, что он мину-ту назад говорил Ружене, было не пустой выдумкой. Точно такие же фразы он уже много лет искренно и прямодушно говорил своей жене.

– Ты уже шесть лет женат, а детей у вас нет. Я была так счастлива, что могу подарить тебе ребенка.

Он чувствовал, как все оборачивается против него. Не представляя себе безграничности его любви к Камиле, Ружена все сводила лишь к ее бесплодию, и это толкало девушку на дерзкую смелость.

Уже холодало, солнце клонилось к горизонту, время убегало, а он еще и еще раз повторял то, что уже сказал ей, а она



повторяла свое «нет, нет, я бы не смогла». Он чувствовал, что зашел в тупик, не знал, за что ухватиться, и ему казалось, что он проигрывает. Он так нервничал, что забывал держать ее за руку, забывал целовать ее и насыщать голос нежностью. С испугом осознав это, он попытался взбодриться. Он остановился, улыбнулся и обнял ее. Это было объятие усталости. Он прижимал ее к себе, прикинув головой к ее лицу, и так, по сути опираясь на нее, отдыхал, переводил дух, ибо ему казалось, что перед ним дальняя дорога, на которую у него нет больше сил.

Но и Ружена была на исходе сил. И ей уже не хватало никаких аргументов, и она чувствовала, что ее жалкое «нет» нельзя до бесконечности повторять мужчине, которого хочешь завоевать.

Объятие длилось долго, и когда Клима выпустил ее из рук, она, склонив голову, смиренно проговорила:

– Тогда подскажи мне, что я должна делать.

Клима не поверил своим ушам. Это пришло внезапно, неожиданно и принесло неизмеримое облегчение. Столь неизмеримое, что ему пришлось всячески сдерживать себя, чтобы не выказать этого. Он погладил девушку по лицу и сказал, что главный врач Шкрета – его добрый знакомый и что будет достаточно, если Ружена через три дня предстанет перед комиссией. Он пойдет с ней. Она ничего не должна бояться.

Ружена не возражала, и он снова вошел во вкус своей роли. Он обнимал ее за плечи и, поминутно останавливаясь,

целовал ее (радость была так велика, что поцелуй снова был окутан туманной пеленой). Он опять завел речь о том, что Ружена сможет перебраться в столицу. И даже вновь заговорил о поездке к морю.

А потом солнце спряталось за горизонт, на лес упали сумерки, и над макушками елей взошла круглая луна. Они направились к машине. Но когда подходили к шоссе, оказались в свете прожектора. Сперва им показалось, что мимо проезжает машина с зажженными фарами, но потом стало ясно, что свет неотступно преследует их. Он исходил от мотоцикла, припаркованного на противоположной стороне шоссе; на мотоцикле сидел человек, наблюдавший за ними.

– Пожалуйста, пойдем быстрее, – сказала Ружена.

Когда они приблизились к машине, человек, сидевший на мотоцикле, слез с него и пошел к ним навстречу. Трубач видел лишь темный силуэт, ибо фары мотоцикла освещали мужчину сзади, а его и Ружену спереди.

– Иди сюда! – бросился мужчина к Ружене. – Давай поговорим! Нам есть что сказать друг другу! О многом надо поговорить! – кричал он возмущенно и растерянно.

Трубач тоже был возмущен и растерян, но, не подозревая истинной подоплеки происходящего, был задет лишь наглой неучтивостью незнакомца.

– Девушка со мной, а не с вами! – воскликнул он.

– А к вам у меня особый разговор! – кричал незнакомец трубачу. – Думаете, если знаменитость, так вам все дозволе-

но! Думаете, можете дурить ее! Можете морочить ей голову! Вам это запросто! Будь я на вашем месте, я бы тоже сумел!

Ружена воспользовалась минутой, когда мотоциклист повернулся к трубачу, и проскользнула в машину. Мотоциклист подскочил к машине. Но окно было закрыто, и девушка включила радио. Раздалась громкая музыка. Затем в машину проскользнул и трубач и захлопнул за собой дверцу. Оглушительно гремела музыка. Сквозь стекло они видели лишь силуэт мужчины, кричавшего что-то и жестикулировавшего руками.

– Ненормальный какой-то, он все время меня преследует, – сказала Ружена. – Пожалуйста, поезжай быстрее!

Он припарковал машину, подвел Ружену к дому Маркса, поцеловал ее и, когда она скрылась за дверью, почувствовал такую усталость, словно не спал четыре ночи подряд. Был уже поздний вечер, он хотел есть, но казалось, нет сил сесть за руль и вести машину. Затосковав вдруг по утешительным словам Бертлефа, он взял наперерез через парк к Ричмонду.

Когда он подошел к подъезду, в глаза ему бросилась большая афиша, на которую падал свет уличного фонаря. На ней крупными неровными буквами было написано его имя, и под ним, буквами помельче, имя Шкреты и аптекаря-пианиста. Афиша была изготовлена ручным способом и сопровождалась любительским изображением золотой трубы.

Скорость, с которой доктор Шкрета разрекламировал концерт, трубач счел добрым предзнаменованием, ибо, по всей вероятности, свидетельствовала о его надежности. Трубач вбежал по лестнице вверх и постучал в дверь Бертлефа.

Ни звука.

Он снова постучал, и снова ему ответила тишина.

Прежде чем он успел подумать о несвоевременности своего прихода (американец славился своими обширными связями с женщинами), его рука уже нажала на ручку. Дверь была не заперта. Трубач шагнул в комнату и замер. Он ничего не видел. Не видел ничего, кроме сияния, разливавшегося

из угла комнаты. Сияние было особенным; оно не походило ни на белое дневное освещение, ни на желтый свет электрической лампы. Это был голубоватый свет, заливавший всю комнату.

Но в эту минуту запоздалая мысль трубача уже настигла его опрометчивую руку и подсказала ему, что он допускает нечто бестактное, вторгаясь незваным гостем в столь поздний час в чужую комнату. Он ужаснулся своей невоспитанности, снова отступил в коридор и поспешно закрыл за собой дверь.

Однако он был настолько растерян, что не ушел, а остался стоять у двери, стараясь осмыслить странное сияние.

Он было подумал, что американец, раздевшись в комнате догола, купается в ультрафиолетовых лучах горного солнца. Но тут открылась дверь, и появился Бертлеф. Голым он не был, на нем был тот же костюм, надетый утром. Улыбаясь трубачу, он сказал:

– Рад, что вы еще раз зашли. Милости прошу!

Трубач настороженно вошел в комнату, но она была освещена обычной, свисавшей с потолка люстрой.

– Боюсь, что побеспокоил вас! – сказал трубач.

– Да полноте! – ответил Бертлеф и кивнул на окно, откуда за минуту до этого, как показалось трубачу, исходило голубоватое сияние. – Я предавался размышлениям. Ничего больше.

– Когда я вошел, простите мое неожиданное вторжение, я

видел здесь совершенно необыкновенное сияние.

– Сияние? – Бертлеф рассмеялся. – Вам не следует так относиться к этой беременности. Из-за нее у вас галлюцинации.

– Может, это было вызвано тем, что я вошел сюда из темного коридора.

– Возможно, – сказал Бертлеф. – Но рассказывайте, чем все кончилось.

Трубач принялся рассказывать, но Бертлеф вскоре прервал его:

– Вы голодны?

Трубач кивнул. Бертлеф вынул из шкафа пакет печенья и банку с ветчиной, которую тут же открыл.

И Клима продолжил свой рассказ, жадно глотая ужин и вопросительно глядя на Бертлефа.

– Полагаю, что все хорошо кончится, – успокоил его Бертлеф.

– А как вы думаете, что это был за человек, который ждал нас у машины?

Бертлеф пожал плечами:

– Не знаю. Да имеет ли это сейчас какое-либо значение!

– В самом деле. Лучше подумать о том, как объяснить Камиле, почему эта конференция так затянулась.

Было довольно поздно. Подкрепившись и успокоившись, трубач сел в машину и покатыл в столицу. Большая круглая луна освещала ему путь.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.